

Кулакова Л.И. Поэзия М.Н.Муравьева // Муравьев М.Н. Стихотворения. — Л, 1967. — С.5-49.

Муравьев М.Н. Архив, дневниковые записи // РНБ. Ф.499.

Паикуров А.Н. Категория Возвышенного в поэзии русского сентиментализма и предромантизма: Эволюция и типология. — Казань, 2004.

Паикуров А.Н., Разживин А.И. История русской литературы XVIII века. — Ч.2. — Елабуга, 2011.

Разживин А.И. «Чародейство красных вымыслов». Эстетика русской предромантической поэмы. — Киров, 2001.

Русские писатели. XVIII век. Биобиблиографический словарь. - М., 2002. — С.128- 130, 135-140.

Федосеева Т.В. Теоретико-методологические основания литературы русского предромантизма. — Москва, 2006

А.Н.Паикуров

Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет

Муравьев Возрожденный: Исследовательская интерпретация Г.А.Гуковского

Григорий Александрович Гуковский, преображая его собственные слова о Михаиле Никитиче Муравьеве, — более или менее учитель всех отечественных литературоведов XX века и последующего нашего времени в том, что касается изучения феноменологии русского XVIII века. В первой трети XX столетия творческой группе именно этого ученого-энциклопедиста принадлежит неоспоримая и яркая заслуга возрождения многоуровневого филологического интереса к М.Н.Муравьеву и его эпохе. Известный и весьма примечательный факт: Г.А.Гуковский даже приостанавливал работу над своей фундаментальной книгой 1938 года — «Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века», приостанавливал, поскольку панорама видения проблемы литературной культуры второй половины XVIII — начала XIX веков стала существенно меняться после разысканий, проведенных его аспиранткой Л.И.Кулаковой в обширных архивах Муравьевского наследия.

Мы предлагаем в данном небольшом очерке рассмотреть во многом контрастную пару двух соседствующих по времени исследований Гуковского: уже названной нами монографии 1938 года и учебника 1939 года — «Русская литература XVIII века», последний не так давно, уже в начале XXI века был переиздан в серии «Классический учебник». Резкая во многом смена объявляемых исследовательских приоритетов на столь коротком отрезке времени объяснима, по важному замечанию А.Зорина (он — автор предисловия к переизданию учебника ученого), и внутренними особенностями натуры Гуковского и установками времени, в диалектически противоречивом един-

стве двух этих начал. С одной стороны, – «сокрушительная потребность осуществления», непреложно приводившая литературоведа «к актуальному на данный момент и активному» [Зорин 2003: 6]. С другой стороны, – явление более сложного порядка: «попытки интеоризировать внешнее давление, не просто принять предлагаемые правила игры, но и до конца ощутить их безусловную ценность» [Зорин 2003: 6].

В книге 1938 года феномен М.Н.Муравьева исследуется Г.А.Гуковским в главе «У истоков русского сентиментализма», в контексте вызревания особой идейной и стилевой манеры отечественных «легких поэтов».

Уже на первых страницах первого из муравьевских подразделов ученый акцентирует наше внимание на нескольких уровнях многоаспектной природы наследия Муравьева, постоянно подчеркивая его переходный характер.

Первый из уровней касается собственно литературных приоритетов молодого писателя, которому предстояло и связать и разъединить Сумароковскую школу и Карамзинизм. Михаил Никитич с творческой своей юности чтит Сумарокова, Майкова, Хераскова – и при этом сам к началу XIX века оказался в достаточно необычной для его тихой музыки и натуры роли Учителя-эталона. При этом Н.М.Карамзин, замечает Гуковский, исключит из «списка литературного Олимпа» Сумарокова, а еще несколько позже сходное А.Ф.Мерзляков повторит с М.М.Херасковым. А Муравьев – приведем два ключевых тезиса «Очерков по истории русской литературы...», – «... литературное воспитание ... получил именно в сумароковской школе» [Гуковский 1938: 253], «С Херасковым ... сохранил самые добрые отношения до конца жизни» [Гуковский 1938: 253].

Но при этом – именно Муравьев «... оказался учителем поэтов 1800-х годов круга Карамзина» [Гуковский 1938: 253], даже более того – «... в кругу карамзинистов был принят как обязательный культ Муравьева, наставника в жизни, морали и литературе...» [Гуковский 1938: 252]. С последним из обозначенных нами моментов как раз и связана выявляемая проблемно Г.А.Гуковским диалектика второго порядка, касающаяся Муравьевского феномена. С одной стороны, наследуя просветителям, Михаил Никитич Муравьев – «... следует общим принципам русских дворянских либералов» [Гуковский 1938: 255], ибо центральными смысловесущими для него идеалами общественно-литературной деятельности выступают: «... понятия "благородства", "чести", постановка вопросов культуры дворянина, его прав и обязанностей» [Гуковский 1938: 255]. Однако, в то же время, и прежде всего – в зеркале последующей рецепции писательского мифа у карамзинистов, М.Н.Муравьев – «... стал каноническим образом мудреца и поэта ... <образом> мирного, тихого человека, обожающего добродетель и отечество, кроткого и умиленного, который в своей голубиной чистоте видит весь мир ... в ... свете добродетельных эмоций, ... кротко наслаждается в тиши изящными искусствами и чтением умных книг и без честолюбия и страстей ... ведет спокойную ровную жизнь на лоне дружбы, природы и поэзии и кротко поучает юных друзей правилам своей мирной морали...» [Гуковский 1938: 252-253]. В приведенной

нами пространной цитате, Григорий Александрович, бесспорно, абсолютно и универсально документально и художественно точен, анализируя феномен Муравьева не просто в контексте литературной культуры становящегося сентиментализма, но и через ведущие его нравственно-эстетические идеологемы. Примечательно, что именно стилистика, слог и литературное мышление М.Н.Муравьева найдут ближайших своих преемников в лице Н.М.Карамзина и В.А.Жуковского, в связи с чем в одной из комментирующих сносок литературовед XX века сопоставляет в дискуссии взгляд на Муравьевскую прозу своей молодой коллеги – Л.И.Кулаковой и авторитетного предшественника – Л.Н.Майкова, приходя к полемичному выводу о правоте первой, но не второго.

Вслед за систематизацией картины самой идеологии фигуры М.Н.Муравьева, Г.А.Гуковский обращается уже непосредственно к законам его мировидения и творчества. Интересно при этом, что один из первых же новых постулатов существенно раздвигает границы представлений о творческом методе писателя. Литературовед обращается к... устойчивым рефренам романтизма в творчестве писателя-сентименталиста:

а) «Субъективный мир как реальность – как бы в укор катастрофическому и иллюзорному объективному миру – эта уже романтическая тема вырисовывается из лирической медитации Муравьева» [Гуковский 1938: 262];

б) «Как один из родоначальников русского романтизма, он разделяет романтический отказ от утилитаризма в искусстве...» [Гуковский 1938: 264].

На этом витке и наступает черед подключиться показательному противоречию. Романтизм, как известно, даже созерцательно-медитативный под пером Жуковского, устойчиво признавался в нашей литературной культуре, с легкой руки того же В.Г.Белинского, как явление вне сомнения прогрессивное и духовно-пересоздающее. Чего нельзя в полной мере сказать об одном из ближайших его предшественников – сентиментализме.

Выше мы уже привели эмоционально-философские размышления Гуковского о сильных и слабых сторонах сентименталистской писательской натуры в Муравьеве. Теперь же заметим, что в оценке путей общественного выхода такого профиля моральных идей ученый гораздо более суров, отказывая Муравьеву в какой бы то ни было социально-политической активности:

а) «... либеральные суждения ... включались в систему ... политического безразличия» [Гуковский 1938: 256];

б) «Он утратил ощущение социального зла, он готов не замечать его на практике» [Гуковский 1938: 257].

В еще большей однозначности эти тезисы получают свое развитие, скажем, заходя вперед, в учебнике 1939 года. В интересующей нас книге выход все-таки найден, и пока еще – «в пользу» М.Н.Муравьева. Как некогда суровый Белинский приписал концептуальных романтиков к прогрессивной, любимой им «натуральной школе» – за

верное воспроизведение внутреннего мира, так и филолог первой половины XX века замечает, что «... романтическая и человеческая, передовая для той эпохи точка зрения» заключалась в том, что именно в эстетике Муравьева создается «новый идеал искусства», видящий «... в произведении искусства его творца как личность...» [Гуковский 1938: 266]. Более того – прямая «дорога преемственности» пролегает далее к самому А.С.Пушкину, создателю нового русского реализма: «Субъективное переживание Пушкин потом объективирует в качестве социального и исторического факта... – и тогда возникает подлинный реализм как мировоззрение» [Гуковский 1938: 267].

Выйдя на вопросы «наследующей перспективы», Григорий Александрович постоянно держит в памяти и ретроспективу, вновь возвращаясь в ходе анализа Муравьевской «этической эстетики / эстетической этики» к системе А.П.Сумарокова. Теперь перед нами – вопрос более сложного философско-мировоззренческого порядка – о динамике соотношения объективного и субъективного, *ratio* и *emotio*. Приведем узловую зону цитаты полностью: «Прекрасное для него <Муравьева> – не дедукция чисто логической, разумной, объективной истины, как для Сумарокова и вообще русских классиков, а эманация высокого строя души индивидуального человека и уклада ее. Объективные критерии красоты, как и истины, уступают место субъективно-эмоциональным...» [Гуковский 1938: 268]. На этом уровне анализа, нам думается, ученый в целом счастливо и гармонично преодолел прежде смущавший и его самого определенным образом «деятельностно-социологический» подход к Муравьевскому наследию, объяснив суть принципиально иными мировоззренческими установками писателя.

Высветив основные прогностические открытия Муравьева в планах предугадывания романтизма и новой концепции «философского субъективизма», Г.А.Гуковский выходит на самую центральную в муравьевоведении и поныне проблему – проблему «Муравьев как учитель XIX века». Выше, как мы уже отметили, он обратился к самой знаковой параллели «Муравьев – Пушкин». Далее его задача – расширить контекст. Так, «философское отношение к жизни и творчеству», по интересной мысли ученого, у Муравьева наследуют любомудры. Свое развитие получает в исторической спирали-перспективе и муравьевская новая концепция личности: «... признание личности в ее не логическом, а лично-психологическом понимании, – ценностью, мерилем истины, высшей реальностью, а за этим шла проблема человека – такая, как ее создала и как ею руководствовалась культура XIX столетия...» [Гуковский 1938: 272].

Начав обзор литературной культуры «вокруг» Муравьева с вопроса о динамике различных стилевых тенденций, Григорий Александрович и завершает панораму анализом поэтического стиля исследуемого автора. Теперь феноменология стиля поверена им философией: суть нового – не столько «в ... отражении объективной для поэта истины», сколько «... в эмоциональном намеке на внутреннее состояние человека-поэта...» [Гуковский 1938: 277]. Более того, – преображает этого полета философско-языковое видение мира и само отображаемое, вот почему, к примеру, в элегии Мура-

вьева «Ночь» – «... объективный пейзаж превращен в пейзаж души...» [Гуковский 1938: 283]. Интересно, что подтекстовым рефреном эта мысль звучала у ученого и 15-тью страницами ранее, что дает нам основание говорить и на этом уровне о «концентричности» продвижения исследователя к истине: «... изображаемый художником мир создан в душе самого художника» [Гуковский 1938: 269].

В учебнике 1939 года творческий путь М.Н.Муравьева помещен в подчеркнуто идеологический контекст, оказываясь на пересечении двух «векторов» – «крушения идеологии классицизма» и «масонства». В название этого, 8-го, раздела имя писателя при этом, что примечательно, не выносится: триада – уже иная – «Новиков, Богданович, Хемницер».

В собственно «муравьевском» под-разделе, занимающем чуть более двух страниц, любопытна двоякая метода критики / панегирика. Целый ряд ключевых тезисов исследования 1938 года сохранен, но сейчас здесь он «сталкивается» с непростой и неоднозначной тенденцией к антимифологизации фигуры писателя. В центре авторской системы Муравьева, как сфокусировано определено в новом тезисе – «моралистические мечты», которые, с одной стороны, исходят из внутреннего Муравьевского «трогательного умиления добродетелью», а с другой, – снимают как таковую острую «проблему социального неравенства» [Гуковский 2003: 264].

Выявление слабых, уязвимых сторон миропозиции Муравьева Гуковский сосредотачивает в нескольких смысловых руслах-упреках:

а) неопределенность общественно-литературной позиции в эпоху «между феодализмом и буржуазными революциями»: «индивидуалистический соллипсизм ... в эпоху буржуазной революции конца XVIII – начала XIX века» (Г., 264) и «идея личности ... <как> трагический результат крушения феодального мировоззрения» [Гуковский 2003: 265];

б) самоизоляция в искусстве как антиответ социальным потрясениям Екатерининской эпохи, и прежде всего – Пугачевского бунта: «Ужас пугачевского восстания заставил ... не видеть ужаса режима, защищавшего их от народного движения» [Гуковский 2003: 264]. И далее – уже через творчество: эмоции в нем – «... тихая пристань от ужаса подлинной жизни...» [Гуковский 2003: 265];

в) существенное ослабление гражданственной позиции литературы, когда писатель не только сам себя, но и общественность, читателей стремится «оторвать» от объективной реальности и «... увести ... в построенный им мир эстетической, умильной и изящной мечты» [Гуковский 2003: 266];

г) при этом, как «изнанка» предыдущего – «глубокий пессимизм и разочарование» [Гуковский 2003: 264].

Однако, внутри столь жесткого костяка антимифа Гуковский устойчиво сохраняет и повторит целый ряд панегириков вновеоткрытому автору. Приведем так же в системе ряд знаковых моментов суждений и выводов литературоведа:

а) творческое наследие Муравьева – полное и наглядное отражение исканий русской интеллигенции в переломный период: «историческая судьба дворянских интеллигентов в период великих исторических катастроф» [Гуковский 2003: 265];

б) высокая духовность как высший эталон – «эманация высокого строя души индивидуального человека» [Гуковский 2003: 264];

в) диалог с Руссо, связь «... единым движением мысли и чувства их времени» – «... в этом сила и значительность ... Муравьева» [Гуковский 2003: 265];

г) язык словесности и культуры, в ходе реформы, осуществленной Муравьевым, начинает ориентироваться на то, чтобы выразить «... глубокие основы мироощущения поэта» [Гуковский 2003: 265].

Нам представляется, практически каждая из этих позиций – наглядный урок-совет и нашему непростому времени, времени, в котором переплетаются тенденции к глобализации и при этом к сохранению национальной идентичности, времени, «визитной карточкой» которого выступает диалог-контраст технического и гуманитарного знания. В плане же более камерном, исследования генезиса и эволюции Муравьевского мифа, заметим, что миропозиция Г.А.Гуковского занимает показательнейшее переходное (в определенной степени - и переломное!) положение между опытом эссе-монографии Николая Жинкина самого начала XX века и исследованиями первого классического "муравьевоведа" 1930-1960-х годов – Любови Ивановны Кулаковой.

Литература

Гуковский Гр. Очерки по истории русской литературы и общественной мысли XVIII века. – Л.: ГИХЛ, 1938.

Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. – М.: Аспект Пресс, 2003.

Зорин А. Григорий Александрович Гуковский и его книга // Гуковский Г.А. Русская литература XVIII века. – М.: Аспект Пресс, 2003. – С.3-12.

А.Ш.Темирбулатова

Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет

Христианские ценности в просветительском творчестве М.Н.Муравьева

Михаил Никитич Муравьев – особенное явление в русской литературе. В истории России и ее культуры он остался как человек исключительного ума и нравственности.

Однако следует отметить, что в исследованиях, посвященных наследию Муравьева, наблюдается нередко тенденция к достаточно одностороннему подходу в отношении к его взглядам и творчеству. Сходясь в оценке личности Муравьева как человека высоконравственного, учёные указывают в первую очередь на приверженность Муравьева европейской философии Просвещения. Цель нашей работы – вы-